

ЕМУ исполнилось тогда 40 лет. В такие годы не так просто начинать жизнь заново. И ведь у него было шаткое положение в литературе, а у нее — благоустроенная семья и двое детей. Тем не менее они были тверды в своем решении быть вместе. Это удалось не сразу, пока, наконец, он не получил небольшую квартиру в писательской надстройке в Нащокинском переулке (ныне улица Фурманова). Михаил Афанасьевич с Еленой Сергеевной перебрались туда. С ними — ее младший сын Сережа, а старший — Женя — остался у отца, но часто приходил к ним и очень привязался к Булгакову. У Жени была даже какая-то влюбленность в него.

Итак — год 1932-й.

...Я знал, что внешний и внутренний облик его жизни не мог не перемениться. Конечно, все стало по-другому! И в первый раз я шел в новый булгаковский дом настороженный. Лена (тогда еще Елена Сергеевна) встретила меня с приветливостью, словно хорошо знакомого, а не просто гостя, и провела в столовую. Там было чинно и красиво, даже чересчур чинно и чересчур красиво. От этого веяло холодком. Напрасно приотворена дверь и виден синий кабинет, а налево — комната маленького Сережи. Книги были выселены в коридор.

— Сейчас будем ужинать, Миша в ванной.

Лена держалась непричужденно, но я видел, что она напряжена не меньше, чем я. Со всей искренностью она хотела расположить к себе тех из немногих друзей, которые сохранились от его прежней жизни. Большинство из них не признавали ее или принимали со сдержанностью. Одета она была с милой и продуманной простотой. И, легко двигаясь, стала хозяйничать. На столе появились голубые тарелки с золотыми рыбами, такие же голубые стопочки и бокалы для вина. Узкое блюдо с закусками, поджаренный хлеб дополняли картину. «Пропал мой неуемный и дерзкий Булгаков, обуржуазился», — подумал я сумрачно.

Но вот появился и он. На голову был натянут старый, хорошо мне знакомый вязаный колпак. Он был в своем выцветшем лиловом купальном халате, из-под которого торчали голые ноги. Направляясь в спальню, он приветственно помахал рукой и скрылся за дверью, но через секунду высунулся и, победоносно прищурившись, осведомился:

— Ну как, обживаешься? Люся, я сейчас.

А потом, уже за столом, говорил:

— Ты заметил, что меня никто не перебивает, а, напротив, с интересом слушают? — Посмотрел на Лену и засмеялся: — Это она еще не догадалась, что я эгоист. Черствый человек. Э, нет, знает, давно догадалась, ну и что? Ой... — он сморщил нос. — Не дай бог, чтобы рядом с тобой появилось золотое сердце, от расторопной любви которого ко всем приятелям, кошкам, собакам и лошадям становится так тошно и одиноко, что хоть в петлю лезь.

Он говорил это шуточно, беззлобно, и я увидел, что он такой же, как был, но вместе с тем и другой. Нервная возбужденность, а иногда и желчь исчезли. Можно было подумать, что дела его круто и сразу повернулись в лучшую сторону и жизнь вошла наконец в спокойное русло.

Ничего этого не было на самом деле и в помине, но появился дом, и дом этот дышал и жил его тревогами и его надеждами. Появился дом, где он ежедневно, ежедневно чувствовал, что он не неудачник, а писатель, делающий важное дело, талантливый писатель, не имеющий права сомневаться в своем назначении и в своем прочном, ни от кого не зависящем месте на земле — в своей стране, в своей литературе, полноправно и полноценно!

Я задумывался не раз, как это случилось.

Не только силой любви, но и силой жизни, жаждой радости, жаждой честного и прекрасного самозащиты возникало это удивительная способность к созиданию счастья. Даже вопреки самым трудным обстоятельствам.

В дни кризиса и неудач, когда легко потерять веру в себя и покатиться вниз, в такие дни нет ничего хуже уныния, скорбной жертвенности, жалостных слов.

О, нет! Этого не было. Напротив, все сияло довольством, хотя то и дело нависали неотложные долги при самом туманном будущем. Хозяйка была энергична и безудержно легкомысленна. И жизнь перестала быть страшной.

Счастье начинается с повседневности. «Слазьте очаг» — повторялось у него в письмах, и не только в то время.

Он жил и работал. И несмотря на непрерывное преодоление трудностей — литературных, театральных, житейских, — у него был веселый, жизнелюбивый дом. Не в этом ли состоял незаметный и удивительный подвиг жизни Елены Сергеевны?

И как это было ему нужно!

Когда я вспоминаю тридцатые годы, последнее десятилетие жизни Булгакова, я не перестаю изумляться неиссякаемости его творческой энергии. При этом он не поддавался никакой мелкой тщеславной суете, никакой «моде». Широко и свободно работал над «Мастером и Маргаритой», и мудрая зрелость мысли все больше сочеталась с озорством подлинного вдохновения. Но работа над романом, который он считал своей главной книгой, то и дело прерывалась. Загадочное предведение о дьяволе в Москве по тем временам никак не могло рассчитываться на публикацию. И надо было жить, то есть зарабатывать. Разве он мог допустить, чтобы дом Лены был нищим? Он и не был нищим! Другой, приходящий к нему, всегда встречали с одинаковой покладливостью, и никто не мог догадаться, в каком положении дела писателя Булгакова. Писатель Булгаков работал. Он писал письма. Он продолжал писать и не только за деньги, а потому, что оставался драматургом и хотел писать их. Но с пьесами было трудно. Вот почему приходилось слишком часто браться за напи-



Сергей
ЕРМОЛИНСКИЙ

ЕЛЕНА

сание либретто для опер и балетов, за инсценировки и киносценарии. Разумеется, это тяготило, но он старался не терять юмора. Усевшись за рояль, сочинял невозможную музыку и пел только что сочиненные им речитативы, изображая оперных певцов... Нет, хуже было то, что его постоянно обманывали. Театральные деятели (из Москвы, Ленинграда, Харькова) появлялись у него, едва он заканчивал очередную пьесу, выражали восторг, обещали немедленный договор, звонили по телефону, торопили, а потом телефон вдруг замолкал, люди исчезали, как будто не было их у него никогда. Осторожничали? Выжидали! Наверно. Но это держало в напряжении, выматывало нервы. Такая, как выражался Булгаков, «театральная резня» изнашивает больше, чем иной мгновенный удар, неудача, катастрофа.

...Он устал, он очень устал. Не просто устал — без сомнения, болезнь исподтишка уже подкрадывалась к нему. Как врач, он понимал ее неостановимый процесс, но таил в себе. Лишь иногда жаловался: «Да, пожалуй, чувствую себя немощно». А раньше любил поболеть и чтобы она поухаживала за ним. Вообще они любили немного поболеть друг перед другом. Она не меньше его. Теперь же он только хмурился, отмалчивался. Нехороший признак.

Осенью 1939 года он вместе с Леной уехал в Ленинград. Дел у него там не было. Просто хотелось пожить в гостинице бездумным и праздным путешественником. Побродить по городу. Без суеты. Посидеть в ресторане. Спать сколько влезет. Не звонить знакомым. Лишь в крайнем случае И прожить так — как можно дольше. Но этого не удалось сделать.

В Ленинграде болезнь его открылась. Резко ослабло зрение. Врачи определили остро развивающуюся высокую гипертонию. Он знал, что это склероз почек, и знал, к чему это должно привести. Ему посоветовали возвращаться в Москву.

В Москве он слег и уже не вставал.

Я пришел к нему в первый же день после их приезда. Он был деловито спокоен. Последовательно рассказал мне все, что с ним будет происходить в течение полугодя — как будет развиваться болезнь. Он называл недели и месяцы и даже часы, определяя все этапы болезни. Я не верил ему, но в дальнейшем все шло, как по расписанию, им самим начертанному.

Воспользовавшись отсутствием Лены, он, скользнув к письменному столу, стал открывать ящики, говоря: — Смотри, вот — папки Это мои рукописи. Ты должен знать, Сергей, где что лежит. Тебе придется помогать Лене.

Лицо его было строго, и я не посмел ему возражать.

— Но имей в виду: Лене о моих медицинских прогнозах — ни слова. Пока что — величайший секрет. — И снова скользнул в постель, накрывшись одеялом до подбородка, и замолк.

В передней послышались голоса. Вернулась Лена и застала нас, разговаривающих о разных разностях, не имеющих отношения к его болезни. На ее вопрос, как он себя чувствует, ответил:

— Небольшая слабость, но в общем ничего!

На столике у постели появлялось все больше лекарств. Все чаще ходили врачи. Их было несколько. Мхатовский врач Иверов совсем примолк в окружении светил. Они выходили от больного растерянными. Он сам себе поставил диагноз, и ничего нельзя было от него скрыть. Однако они еще долго шушукались в коридоре, прощались с Леной, ободряли ее, уходили.

Лицо его заострилось. Он помолодел. Глаза стали совсем светло-голубые, чистые. И волосы, чуть вострянные, делали его похожим на юношу. Он смотрел на мир удивленно и ясно.

Очень часто заходили друзья — Дмитриев, Вильямс, Борис Эрдман (брат Николая Робертовича, художник), забегал полноватый, добродушный Файко, живший по соседству на той же лестничной площадке. К постели больного приставлялся стол. Мы выпивали и закусывали, а он чокался рюмкой с водой. Он настаивал, чтобы мы выпивали, как раньше бывало. И для нашего удовольствия делал вид, что тоже немного хмелеет. Но вскоре эти посиделки кончились. Они стали трудны для него.

Однажды, подняв на меня глаза, он заговорил, позвизгав голос и какими-то несвойственными ему словами, стесняясь:

— Что-то я хотел тебе сказать... Понимаешь... Как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть.

Он задумался и потом сказал еще, что духовное общение с близким человеком после смерти отнюдь не проходит, напротив, оно может обостриться, и это очень важно, чтобы так случилось...

— Фу ты, — перебил он сам себя, — я, кажется, действительно совсем плох, коли заговорил о таких вещах. Ты не находишь?

— Не нахожу, — буркнул я и тревожно подумал: каков у него доброе лицо. Как у ребенка.

В феврале я уже не выходил из их дома. Как ни мала была моя помощь, но нет-нет, а заставлял Лену спать: вместо нее прислушивался, спит ли он, не зовет ли. Все-таки, мне кажется, я немного помогал ей. Она была такой же, как всегда. Входила к нему, улыбаясь. Собранная, греческая, не раз озабоченно взглянув на себя в зеркало, она бесшумно управляла жизнью в доме. И не было никакой суматохи, паники, отчаяния, ни охов, ни жалоб. Мы пили с ней утренний кофе в кухне, словно бы я пришел гостем: все было красиво и уютно, ни в чем никакой неряшливости. Лишь в последние дни она тихонько плакала, присев к кухонному столу, и я не мешал ей, не заговаривал с ней. Я лежал на диване Сережи (его на все это время отправили к отцу), перелистывая «Исторический вестник», и там, в записках Гусева, выискивал подчеркнутую Мишей лесковскую цитату о фальшивом самодовольстве, которое обязан бичевать писатель, чтобы оно не замарало, не опустошило наши души.

В доме тихо.

Он один, и мы не мешали ему.

Жизнь обтекает его волнами, но уже не касается его. Одна и та же мысль, днем и ночью, сна нет. Слова встают зримо. Можно, вскочив, записать их, но встать нельзя, и все, расплывшись, забывается, исчезает...

Почти до самого последнего дня он беспокоился о своем романе, требовал, чтобы ему прочли то ту, то другую страницу.

Сидя у машинки, Лена читала негромко:

«С ближайшего столба доносилась хрипая бессмысленная песенка. Повешанный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что-то про виноград...»

Оставив чтение, она посмотрела на него.

Он лежал неподвижно, думал. Потом, повернув голову в ее сторону, попросил:

— Переверни четыре-пять страниц назад. Как там? Солнце склоняется...

— Я нашла: «Солнце склоняется, а смерти нет».

— А дальше? Через строчку?

— Бог! За что гневаться на него? Пошли ему смерть».

— Да, так, — сказал он. — Я посплю, Лена. Который час?

Это были дни молчаливого и ничем не снимаемого страдания. Слова медленно умирали в нем...

Обычные дозы снотворного перестали действовать. И появились длинные рецепты, испещренные кабрикетскими латинизмами. По этим рецептам, превосходящим все полагающиеся нормы, перестали отпускать лекарства нашим посланцам. Мне пришлось самому пойти в аптеку, чтобы объяснить, в чем дело.

Я давно не выходил на улицу, и влажный мартовский воздух ударил мне в голову. Над отгороженным пустырем горели фонари.

На Кропоткинской я поднялся в аптеку, попросил заведующего. Он вспомнил Булгакова, своего обстоятельного клиента, и, подавая мне лекарство, печально покачал головой.

Тяло. Снег был желтый, грязный. Вдоль бульварного кольца еще позвякивала «Аннушка». Все было совсем другое.



Несколько раз звонил А. А. Фадеев, справлялся встревоженно, не нужна ли еще ссуда из Союза, нужно ли еще что-нибудь?

— Думаю, уже не нужно.
— Неужели? — шепотом спросил он и, помолчав некоторое время, подышав, положил трубку.

Действительно, уже ничего не могло помочь. Весь его организм был отравлен, каждый мускул при малейшем движении болел нестерпимо. Он кричал, не в силах сдержать крик. Этот крик до сих пор у меня в ушах. Мы осторожно переворачивали его. Как ни было ему больно от наших прикосновений, он крепился и, не застонав, говорил мне едва слышно, одними губами:

— Ты хорошо это делаешь... Хорошо...
И уже никого, кроме Лены и меня, к себе не подпускал.

Он ослеп.
Когда я наклонялся к нему, он ощупывал мое лицо руками и узнавал меня. Лену он узнавал по шагам, едва появлялась она в комнате.

СЕРГЕЕВНА

Все последние ночи со мною вместе (в комнате маленького Сережи, на полу) ночевали Дмитриев и Борис Эрдман. С утра приходит Женя, старший сын Лены. Булгаков трогал его лицо и улыбался. Он делал это не только потому, что любил этого темноволосого, очень красивого юношу, холодновато-сдержанного, повзрослому отвечающего за каждое свое душевное движение, он делал это не только для него, но и для Лены. Быть может, это было последним проявлением его любви к ней — и благодарности.

10 марта 1940 год в 4 часа дня он умер. Мне почему-то всегда кажется, что это было на рассвете.

Лена была неподвижно спокойной. Такой сдержанной я, пожалуй, никогда ее не видел. Она лишь приказала мне записывать в тетрадку всех, кто приходил проститься с ним. А приходили не только близкие знакомые. В квартире стало тесно. Дверь настежь, на лестнице люди... Затрудняюсь сказать, кто это был? Ведь имя писателя Булгакова уже порядком забыли. Давно отгремел шум, поднятый в 20-х годах вокруг его имени. Лишь во МХАТе продолжали играть «Дни Турбиных». Проза его лежала в ящиках письменного стола, неведомая читателю. Поэтому не удивительно, что когда его гроб перевезли в Союз писателей, то оказалось народу совсем немного. В полутемном зале стояли группы людей. Многие уходили и приходили опять. К вечеру собралось людей побольше. Было тихо. Музыки не было. Он просил, чтобы ее не было.

По дороге в крематорий заехали в Художественный театр. Вся труппа и служащие ждали его у подъезда. Затем проехали к Большому театру, где он работал заведующим литчастью, — там, у колонн, стояло много людей — тоже ждали его.

Через несколько дней после похорон Лена получила письмо от А. А. Фадеева. Он объяснял, что лишь неотложные дела не позволили ему зайти к ней и в союз. И далее, подчеркивая свое уважение к ней, возвышенно отзывался о Михаиле Афанасьевиче как о человеке поразительного таланта. Он заверял Лену, что все, связанное с памятью Булгакова, его творчеством, мы будем беречь и сохраним, и люди будут знать его все лучше по сравнению с тем временем, когда он жил. По этим делам и вопросам я буду связан с Маршаком и Ермолинским и всегда помогу». Он писал: «И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, путь его был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного: хуже было бы, если бы он фальшивил».

Это были первые прямодушные строки о Булгакове. 21 марта правление Союза писателей СССР утвердило нашу первую комиссию по его литературному наследию. Но время ли было для «воскрешения» Булгакова? Грозные события неотвратимо надвигались. В июне 41-го разразилась война. Тема войны, тема воинской доблести и всенародного подвига стала главной, единственной темой всей нашей литературы.

Лена с младшим сыном Сережей уехали с писательским эшелоном в Ташкент, а старший — Женя Шилковский — находился в артиллерийском училище в городе Мары (в Туркмении), окончив которое получил назначение в действующую армию.

Из Ташкента она вернулась в растерянности. Ее квартира на улице Фурманова показалась неживой — тень прошлого.

Мне она писала (я тогда был в Тбилиси):

«Милый Сереженька, прости, что не писала так долго. У меня голова кругом идет от разнообразнейших и бесплодных хлопот. А я тем временем сижу без копеечки. Вставая утром, прежде всего смотрю кругом, что еще можно продать. Оля*, по своему несчастному обыкновению, принесла мне на хвосте неприятные новости. «Мертвые души» не пойдут долгое время, так как спектакль разболтался, а приводить его в порядок некогда. «Пушкин» («Последние дни») идет очень редко, и Оля советует мне скорее искать себе работу по переписке на пишущей машинке, чтобы иметь какой-нибудь вер-

ный заработок. Ты пишешь приезде в конце сентября. Ничего не изменилось? Сереженька, милый, меня очень волнует мысль, что у тебя будут сложности с твоей пьесой (я писал о Грибоедове — С. Е.), потому что сейчас нужны пьесы только на современную тему. Целую тебя крепко».

В 1949 году в связи с приближающимся десятилетием со дня смерти Булгакова она напомнила Союзу писателей, что еще 21 марта 1940 года правление ССП постановило издать сборник его пьес.

Ей порекомендовали обратиться в издательство «Искусство», и она отправилась туда.

Насколько помню, директором был тогда Е. Е. Северин. Он ознакомился с бумагами, некоторое время поразмышлял и затем, отложив две пьесы — «Дни Турбиных» и «Последние дни», — сказал: «Выпустим книжку с этими двумя пьесами и постараемся сделать это поскорее, так сказать, где бы к десятилетью со дня...» Вышла первая тоненькая книжка...

Лена взялась за перевод пьесы Морюа о Жорж Санд для серии «Жизнь замечательных людей». Но именно в это время и возникло первое собрание сочинений Михаила Булгакова.

Первоиздательницей была Лена.

В ее распоряжении имела пишущая машинка американского происхождения, когда-то по случаю приобритенная Михаилом Афанасьевичем. Я приволок из Литфонда желтоватую бумагу в рулонах, мы нарезали ее по размеру книги, а не на обычные листы. Лена печатала целый день. Никто не торопил, но не терпелось скорее закончить. Перепечатывались все пьесы и романы, выживались из газет и профсоюзных журнальчиков двадцатых годов его старые фельетоны и рассказы.

Но мы с Леной в первую очередь были увлечены не фельетонами, а «Мастером и Маргаритой», разбираясь в последних правках уже слепого, умиравшего автора...

Булгаков не дожидаясь своего полного признания, до своего торжества, а Лена, к счастью, дождалась. И не удивилась. Она была уверена, что иначе и быть не могло.

В 60-е годы были опубликованы все самые крупные, самые важные работы Булгакова. Издательство «Искусство» познакомило читателя с его драматургией (вышли два сборника его пьес). Затем возник Булгаков-прозаик. Были напечатаны — «Белая гвардия» (впервые полностью), «Жизнь господина де Мольера», «Записки юного врача», «Театральный роман» и, сначала в журнальной редакции, «Мастер и Маргарита», вызвавший поистине сенсационный интерес. «Я всегда говорил, — воскликнул бы Булгаков, — что мой роман еще сотворит сюрприз». Появился, как чудо, писатель, доселе неведомый читателю и открывший миру еще одну необыкновенную по яркости страницу нашей советской литературы.

...Ей было уже больше семидесяти лет, но она была привлекательна, как всегда, как прежде, и, не преувеличивая, скажу — молодая!

Когда жизнь ее сказочно переменилась, она жила уже не на улице Фурманова, а в новой, небольшой, очень уютной квартире на Суворовском бульваре, у Никитских ворот. Огромный портрет его в овальной раме, сделанный по фотографии, лишь в общих чертах напоминал его образ, но этот образ оживал в ее рассказах. Она с живостью передавала его юмор, его интонации. Она оставалась все той же Леной, но она необыкновенно раскрылась. Его смерть была неподдельным, охватывающим всю ее горем. Не утратой, не потерей, не вдовой печалью, а именно горем. И оно было такой силы, что не придавило, а напротив — пробило к жизни!

В этом нет ничего странного. Любви без воображения не бывает. Когда растворяется неизбежный житейский сор, возникает возвышенная чистота отношений, и они незаметно вырастают в легенду, которую не следует разрушать. Внутренне сильные натуры, как Елена Сергеевна, подвластные такому самовозяющему чувству, когда игру уже нельзя отличить от правды. Тут не было ни лжи, ни фальши. При Булгакове она искренне притупляла себя, готовая на повседневное подчинение. Отходила на второй план, иногда, быть может, молчаливо бунтуя и опять смиряясь.

Но она отнюдь не испытывала женского рабства, ибо он зависел от нее не менее, чем она от него. Это было добровольное и радостное подчинение. Когда оно вдруг кончилось, Лена вместе с потрясшим ее горем не могла не почувствовать... какого-то высвобождения! В этом тоже не было ничего странного. Что-то, все время сдерживаемое внутри, прорывалось. Произшло нечто, похожее на взрыв. Замкнутые в последнее время двери ее дома распахнулись, и сперва она была даже неразборчива в выборе новых друзей. Осторожность и отбор их пришли позже, особенно когда все более расширялась волна интереса к творчеству Булгакова, к его биографии, а вместе с этим и к ней...

Я поражался, с каким умом и тактом она вела булгаковские издания. Он никогда не смог бы вести их так, как она! Множество деловых людей стало появляться в ее доме. Засуетились и представители зарубежных издательств, иностранные корреспонденты — разный, пестрый народ. И почти все ожидали встретить чуть ли не старуху, а их встречала женщина изящная, легкая,

остроумная. Гостеприимство ее было обворожительно. Если надо было, она могла по-женски обхитрить кого угодно, притворяясь то беззащитной и милой хозяйкой, то лукавой хищницей. «Ты лисичка, — говорил я, — ты похожа на лисичку». «Вот и Миша говорил, что похожа», — соглашалась она.

И верно — похожа. Особенно в меховой шубе, чуть высунувшись из пушистого воротника.

Некоторые жены ее знакомых, скрывая озабоченность, говорили, что она неравнодушна к их мужьям, а мужья эти намекали мне не без самоуслаждения: «Она удивительно ко мне относится. Нет, правда. Я чувствую. Н-да...» И многие, в том числе и литераторы, не лишние прозорливости, легко попадались на ее «булгаковские провокации», принимая их за чистую монету, и полушутя, а то и всерьез рассказывали о ее внезапных появлениях, гогоря, что она, ей-богу, «ведьма», способная летать на метле... «Ты думаешь, что ты ведьма?» — дразнил я ее. «Не ведьма, а колдунья и Маргарита», — строго говорила она.

А ведь верно, в ней вдруг появилось что-то от Маргариты или — у Маргариты от Лены? В первых редакциях романа не было ни Мастера, ни Маргариты. В окончательной редакции они возникают лишь в 13-й главе, которая так и называется — «Явление героя» (ее имя еще только упоминается). Роман развернулся и был завершен, как известно, когда Булгаков жил уже на улице Фурманова с Леной. И характер ее то и дело начинает угадываться в его героине. Не только с Маргаритой, но и с ней, с Леной, на моих глазах происходили удивительные перемены, словно Булгаков видел ее скрытые черты. Она не раз спрашивала меня: «Объясни, почему Миша меня полюбил?». А он просто предвидел, какой она будет.

В своей игре с людьми она была естественна — и в корысти и в беспечности... В ней была легкость, которая омрачалась лишь настаивавшей ее старостью.

Но совершенно так же, как раньше, интересовалась нарядами. Это было ее постоянной страстью, не побуюсь сказать — творче твоим. А теперь возможностей стало много, как никогда потому что жизнь ее феерически изменилась. Булгаков, при всем его воображении, не возмнил бы, что может оказаться «золотым» автором и так одарить ее. Впрочем, по его же словам, «никто не знает своего будущего».

Она часто появлялась в моем доме (уже на улице Чернышевского). «Таня, где вы? Посмотрите мое новое пальто! Идите скорее, а то я еле стою на этих проклятых шпильках, какой черт их выдумал?! Не могу, упаду!». Ей до крайности важен был суд моей жены. Она вообще любила поговорить с ней — с юморком! — не только о модах, обо всем на свете. Но это обычно было вторым отделением приема ее визита. Повертевшись, как манекенщица, снимала пальто, бросала его роскошным жестом на пол и, сразу преобразившись, строгая и деловитая, появлялась у меня в кабинете. Новостей всегда было полно. «Театральный роман» безусловно будет напечатан в «Новом мире». Звонили из «Прометей» с намерением опубликовать в ближайшем сборнике отрывки из древних глав «Мастера и Маргариты». Несколько звонков было из «Москвы», тоже по поводу «Мастера»... Словом, новостей через край, и Лена волновалась, решала, что делать, как поступить.

Нежданно именно «Москва» заявила твердо, что будет печатать роман. Удар молнии! К ней пришел представитель редакции с договором!

— Печатаем. Имеем основание думать, что это реально. Здесь указаны условия, 300 рублей за лист — наш обычный гонорар. Прошу подписать.

— Обычный гонорар? — высокомерно подняв голову, произнесла она. — Михаилу Афанасьевичу? За «Мастера и Маргариту»? — И вдруг — как в полубреду: — 400!

— К сожалению, я не уполномочен сказать, возможно ли это, — растерянно ответил представитель редакции. — Для этого понадобится особое разрешение.

Он ушел, а едва затворилась за ним дверь, как она метнулась за ним. Его уже не было. Он исчез. Господи, как же она так? Да ведь она даром, без всякого гонорара отдала бы этот роман, лишь бы напечатали! В любом журнале! Хотя в «Пожарном вестнике»!.. И она примчалась ко мне.

— Бей меня, — говорила она, швырнув сумку и даже не раздевшись. — Дура, дура! Что я наделала! Знаю только одно, что наплевать на самолюбие и бешать, зvonить, умолять, завтра же, только бы не раздумали!..

Но звонить не пришлось — позвонили из редакции и сказали, что на ее условия согласны. Роман (с некоторыми сокращениями) был напечатан в «Москве», и успех его был подобен взрыву. Полностью он появился в однотомнике, в который вошли «Белая гвардия», «Театральный роман» и «Мастер и Маргарита». Этой прекрасной изданной книги Лена уже не увидела.

Не узнала она, что в его родном Киеве начали реставрацию дома на Андреевском спуске, где жила семья Булгаковых («Дом Турбиных»), а недавно я получил квитанцию киевской горсправки, в которой сообщалось, что в городе существует улица, названная его именем. Она находится в новом жилом массиве Борщаговки и проехать к ней можно на трамвае № 1 до конца и далее автобусом № 87...

Урну ее захоронили на Новодевичьем кладбище — его могиле. И теперь там выгравирована единая надпись:

писатель
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ
(1891—1940)

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА БУЛГАКОВА
(1892—1970)

Я служил ей всем, чем мог.
Мой неоттягачущий долг.

1966—1981.

* Ольга Сергеевна Бокшанская, старшая сестра Лены, секретарь Вл. И. Немировича-Данченко.